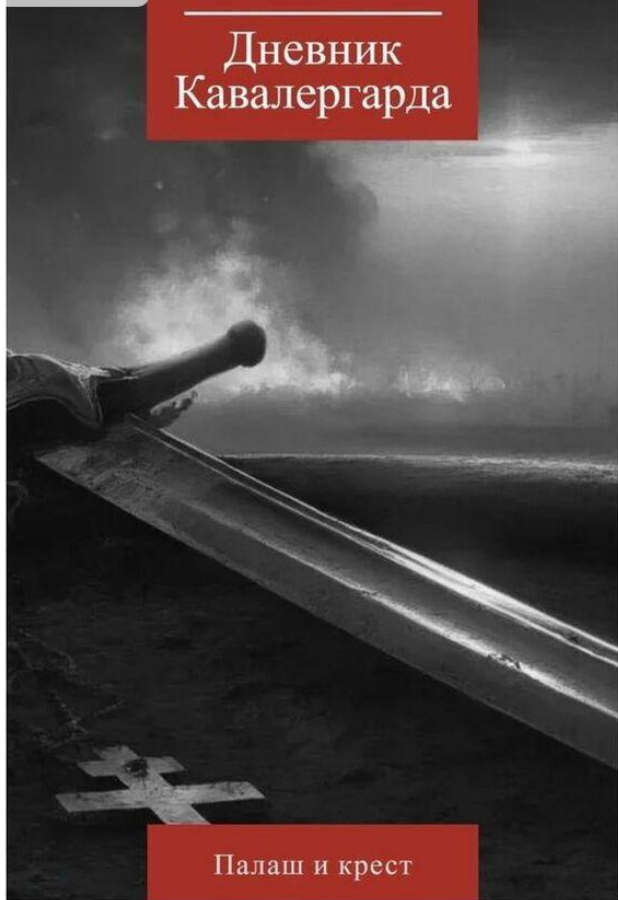


18+

Пазухин А. Е.

Дневник
Кавалергарда



Палаш и крест

Андрей Пазухин
Дневник кавалергарда:
Палаш и крест

<https://litres.ru/74375133>

ISBN 9785007106160

Аннотация

Дневник кавалергарда, прошедшего Бородино. История о том, как война остаётся в человеке даже после победы, и о тишине, в которой рождается надежда. Психологическая военно-историческая повесть о памяти, любви и возвращении к себе.

Содержание

Предисловие	5
Дневник кавалергарда Палаш и крест	7
Глава 1. Шёпот у костра	7
Конец первой главы.	14
Глава 2. Канун: когда тишина страшнее боя	15
Конец второй главы.	21
Глава 3. Утро, которое не кончается	22
Конец третьей главы.	26
Глава 4. Атака: задержать любой ценой	27
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Дневник кавалергарда: Палаш и крест

Андрей Пазухин

© Андрей Пазухин, 2026

ISBN 978-5-0071-0616-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Я всегда хотел написать книгу, не ради славы, не ради денег. Просто, чтобы однажды сесть и сказать: «Я сделал это. Я дал голос тому, кто молчал внутри меня».

Это дневник, он родился из тишины. Из ночей, когда я не спал и думал о тех, кто не вернулся с войны. Из разговоров с собой, из писем, которые я никогда не отправлял. Из желания дать голос человеку, который прожил тяжелый 1812 год, не как герой с орденами на портрета, а как живой человек, который боялся, любил, терял и снова учился дышать.

Мой герой — кавалергард, прошедший Бородино, Лейпциг и Париж. Он не совершал подвигов в одиночку. Он просто пытался выжить, не потеряв себя. И я пишу о нём не как об идеальном воине, а как о человеке, который учился жить с тем, что не умещается в слова.

Это не учебник истории и не бульварный роман. Это попытка заглянуть внутрь и увидеть, как война остаётся в человеке даже тогда, когда мир возвращается.

Это книга о возвращении. О том, как найти дом после того, как ничья земля стала единственной реальностью.

Может быть, она поможет тем, кто чувствует то же, что и мой герой, потому что годы идут, а война, трагедия и всё, что с ними связано, остаются в человеке иногда навсегда. И если хоть один человек, прочитав эти строки, почувствует, что он не один, значит, книга написана не зря.

Я не знаю, понравится ли это вам. Но я знаю, что это — правда. Моя правда. И правда тех, кто стоял на Бородинском поле и не мог ответить себе на вопрос: «Зачем?»

Спасибо, что открыли эту книгу.

Андрей Пазухин

Дневник кавалергарда Палаш и крест

Глава 1. Шёпот у костра **Бивак под Смоленском, август 1812 года. Три дня до Бородина.**

Эти записи я веду для себя. Для памяти. Для того, чтобы однажды, когда-нибудь, перечитать и понять: было ли всё это на самом деле. Или мне приснилось. Иногда я сам не знаю.

Ночь не пришла. Она навалилась, сырая и тяжёлая, как одеяло, которым накрывают умирающего. Август под Смоленском оказался не ласковым петербургским августом, а злым, промозглым месяцем, пахнущим гарью и гнилым сеном. Мы стояли биваком на пригорке, вёрстах в пятнадцати от города, который уже дымился на горизонте — французы брали его, дом за домом, улицу за улицей. Я смотрел на тот дым и чувствовал, как что-то сжимается в груди. Не патриотический восторг, нет. Просто страх большой, чёрный, бездонный.

Мне девятнадцать лет. Четыре месяца назад я вышел из

Пажеского корпуса и был произведён в корнеты Кавалергардского полка. Маменька плакала, когда надевала на меня этот белый колет с серебряным шитьём. Отец сказал: «Не посрами фамилию». А я думал тогда о том, как лихо буду крутить усы на балах, как стану ловить восторженные взгляды девиц в голубых лентах. О том, что придётся рубить живых людей, я не думал вовсе. Глупец.

Теперь я сидел на влажной земле, прислонившись к седлу, и смотрел на огонь. Костер горел скупно — берегли сучья, кругом выжженная степь, леса не осталось, всё пожрала армия. Пахло сырыми овсяными лепёшками, конским потом и тем особенным кислым духом, который всегда стоял над биваком: смесь дыма, прелой шинели и чужой усталости. В отдалении хрипели лошади. Кто-то пел протяжную песню, глухую и тоскливую, на украинский лад.

Я сжимал в правой руке обрывок бумаги — письмо, которое начал писать сегодня утром. «Маменька, если это письмо дойдёт до Вас, значит, меня уже нет...» Дальше шли слова, от которых мне самому становилось тошно: про честь, про долг, про то, что умираю за Веру, Царя и Отечество. Всё это было правдой, и всё это было ложью, потому что главная правда, которую я не смел написать, звучала так: «Маменька, я до смерти боюсь. Я хочу домой. Я не хочу умирать на этом проклятом поле, где даже червидохнут от страха».

Я собрался было разорвать лист, но в последний момент

сунул его за обшлаг мундира. Пусть лежит. На всякий случай.

— Пишешь, барон? — раздалось над ухом.

Я вздрогнул. Рядом, бесшумно ступая в своих стоптанных сапогах, стоял вахмистр Егоров. Солдат старый, лет сорока, лицо, изрытое оспой, и глаза цвета утреннего неба — светлые, спокойные, как у человека, который видел уже всё и ничего не боится. Он держал в руке короткую глиняную трубку, набитую вонючим кнастером. От него пахло махоркой и конюшней.

— Так, — ответил я, пряча руку за спину. — Пустое.

Егоров не стал допытываться. Он присел на корточки у самого огня, сунул в угли длинную щепку, раскурил трубку, выпустил облако сизого дыма и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Завтра, сказывают, выступаем. К Гжатску. А там, чует моё сердце, и дадим бой.

— Откуда вы знаете? — спросил я голосом, который сам не узнал — тонким, почти бабьим.

Егоров пожал плечами. Плечи у него были широкие, крестьянские, мундир сидел туго.

— Земля гудит, ваше благородие. Это не просто так. Француз ногу наступает — земля стонет. Вы приложите ухо к земле, сами услышите.

Я не стал прикладывать. Боялся услышать то, что нельзя будет забыть.

Мимо прошагал поручик Воронцов, высокий, сухой, с сединой в тёмных бакенбардах, левая рука на перевязи. На Бородине он ещё будет командиром, но пока что мы просто сослуживцы и отношения у нас ровные, без дружбы. Воронцов не любил юнцов. Он вообще никого не любил кроме своего старого гнедого мерина и французского коньяка, который возил в седле в плоской фляге. Увидев меня у костра, он остановился, помолчал, потом бросил:

— Не спится, барон?

— Нет, — признался я.

— И не должно. Перед большим делом никто не спит. Кто спит — тот либо мертвец, либо дурак. Он взглянул на Егорова, кивнул.

— Вахмистр, проследи, чтобы лошади были напоены до рассвета. У француза лошади свежее, наши еле ноги волокут.

— Сделаю, ваше благородие, — козырнул Егоров.

Воронцов ушёл в темноту, и какое-то время я слышал, как хрустит сухая трава под его шагами. Потом всё стихло, только сверчки заливались в ближайшем бурьяне.

Я поднял голову. Небо над нами было чёрным-чёрным, но звёзды висели низко и крупно, как недозрелые яблоки на отцовском дереве. В Петербурге таких звёзд не увидишь — там всё затянуто дымкой и фонарями. Здесь же, в степи, небо казалось бесконечным. И от этой бесконечности становилось

ещё страшнее, потому что где-то в этой бесконечности, наверное, есть Бог, но он молчит. Совсем. И не отвечает на молитвы.

— Егоров, — позвал я тихо.

— Чего изволите?

— Вы верите, что мы победим?

Он долго молчал, попыхивая трубкой. Потом сказал, не глядя на меня:

— Я верю, что мы сделаем своё дело. А там как Господь рассудит. Вы, барон, не загадывайте. Живы будем — увидим. А нет — так нам же легче.

— Легче?

— Легче. Солдату что? Убитый — спит. Раненый — мучается. Живой — помнит. Так что самое трудное — это выжить, ваше благородие. Не каждому дано.

Я не понял тогда, что он имел в виду. Пойму через несколько дней, когда буду сидеть на поле, заваленном трупами, и считать, сколько нас осталось.

Мы помолчали. Я смотрел, как тлеют угли в костре, и думал о доме. О маменькиной гостиной с портретами предков. О том, как отец учил меня держать палаш на плацу — сухо, скучно, без всякой мысли о том, что этим палашом придётся рубить живого человека. О Лизавете Аркадьевне, фрейлине с маленькой родинкой у губ, которой я обещал привезти с войны французский платок. Теперь мне казалось, что я не увижу ни платка, ни её самой.

— Егоров, — спросил я опять. — А страшно вам?

Он усмехнулся, показав жёлтые зубы.

— А вы думали, старый солдат железный? Подите вы. То же страшно. Только я умею так делать, что страх не видно. Вот и всё.

— Как?

Он затанулся, выпустил дым, стряхнул пепел о каблук.

— А так: когда идёшь в атаку, не думай ни о чём. Совсем. Стань лошадию. У лошади страха нет, есть только команда «вперёд». И когда другие падают, не смотри на них. Смотри на спину переднего. Если упадёт он, смотри на следующего. И руби, руби, руби. Не давай себе остановиться.

Он помолчал, потом добавил, уже тише:

— А после — после уже не страшно. После — пустота. Пустота и слёзы. Но до них ещё дожить надо.

Я вдруг понял, что хочу запомнить этот миг навсегда: ко-стёр, запах махорки, звёзды, спокойное лицо Егорова, тёп-лый круп лошади, дышащей мне в спину. Всё это — послед-няя мирная ночь. Последняя, когда я не знаю, что такое кар-течь, и не видел, как человеку разрывает живот и он ползёт по собственной крови, не понимая, что уже умер.

— Барон, — вдруг сказал Егоров, поднимаясь на ноги. — Вы бы поспали хоть час. Завтра сил много надо.

— Не усну, — ответил я честно.

— А вы попробуйте. Закройте глаза и вспомните что-ни-будь хорошее. Дом, например. Собаку. Девку какую. Приро-

да тоже — вон как звёзды светят, чисто для вас. Господь ведь не просто так их зажёл. Чтоб мы видели — красота ещё есть даже на войне.

Он отдал честь и ушёл в темноту, к лошадям. Я остался один.

И тут, в этой тишине, среди дыма и конского запаха, я услышал далёкую музыку. Где-то за холмами, на французских позициях, играл оркестр. Доносилась «Марсельеза» — красивая, гордая, чужая. Её подхватывали сотни голосов. «Aux armes, citoyens!» — «К оружию, граждане!» И мне показалось, что они поют не о свободе, а о моей смерти. О том, что завтра я, Александр Корецкий, буду лежать на траве, и мухи облепят мои открытые глаза.

Я закрыл их сам, чтобы не видеть неба. Сжал кулаки, впинаясь ногтями в ладони. И прошептал в темноту то, чего боялся сказать вслух:

— Господи, если Ты есть... сделай так, чтобы я не опозорился. Не прошу жизни. Прошу только — не дай мне побеждать.

Никто не ответил.

Только сверчки, да ветер, да далёкое пение французских солдат.

И где-то там, в глубине моего нутра, скрючившийся комок страха заворочался и затих, притаившись перед прыжком.

Конец первой главы.

Глава 2. Канун: когда тишина страшнее боя

****Бородинское поле, ночь с 25
на 26 августа 1812 года. За
несколько часов до сражения.****

Мы подошли к Бородину на рассвете, но я понял это не по солнцу — его закрыли тучи, низкие, свинцовые, как потолок склепа. Я понял это по земле. Земля здесь была другая. Мягкая, пахнувшая перегноем и чем-то сладковатым, будто под ней уже лежали мертвецы, хотя бой ещё не начался.

Полк выстроили в резерве, позади Курганной высоты — той самой, где потом будут стоять батареи Раевского. Мы спешили, передали поводья вестовым, и я впервые за несколько дней почувствовал, как дрожат мои ноги. Не от усталости, а от близости того огромного, невидимого зверя, который притаился впереди, за гребнем холма. Его звали Завтра.

Воронцов с перевязанной правой рукой (царапина дала о себе знать) ходил вдоль строя, цепким взглядом проверяя амуницию. Увидев меня, он остановился.

— Ну, барон, — сказал он без обычной насмешки. — Вот и дождались. Завтра — главное дело. Я хочу, чтобы вы зна-

ли: в первой линии мы не стоим. Полк кинут в атаку, когда француз пойдёт на батарею.

— Откуда вы знаете? — спросил я. Голос мой прозвучал чужим, сильным.

— Чувствую, — ответил Воронцов. Он посмотрел на небо, потом на запад, где за лесом клубились дымы французских биваков. — Сегодня ночью не спать. Проверить оружие. Палаш точить, стволы чистить. И не думать о смерти. Думать о ней, всё равно что звать её в гости. Он хотел добавить что-то ещё, но махнул здоровой рукой и отошёл.

Я остался у своей лошади. Граф — так я назвал его в честь отцовского коня, которого оставил дома, — тихо жевал овёс из торбы, иногда поднимая голову и косясь на меня умным карим глазом. Он был гнедым, тяжёлым, с мощной грудью и короткими бабками. Кавалергардская лошадь — не французская вертлявая лошадка, а русская рабочая сила. Но даже он, казалось, понимал, что грядёт нечто небывалое.

Я вынул палаш. Клинок был чист, я протёр его час назад, но всё равно провёл по нему куском сукна. Лезвие отражало серое небо и моё собственное лицо — бледное, с запавшими глазами, с отросшими светлыми усами, которые я так и не научился закручивать лихо. Дома, перед зеркалом, я казался себе красивым. Теперь же видел только страх. Вылитый страх в человеческом обличье.

— Ваше благородие, — раздалось за спиной.

Я обернулся. Егоров с неизменной трубкой в зубах, с по-

тёртым седлом в руках. Он выглядел так же, как всегда, будто завтра ему не предстояло идти под картечь:

— Чего вам, вахмистр?

— Седло проверить дозвольте. Ваше новое, казённое, а ремни дублёные, в бою лопнуть могут. Я своим дедовским способом перетяну.

Я кивнул. Он ловко одной рукой расстегнул подпругу, ошупал каждую пряжку. Потом сказал, не поднимая головы:

— Вы, барон, сегодня не ели. Хлеба кусок в ранце лежит. Съешьте. Сила нужна.

— Не лезет, — признался я.

— А вы заставьте. Солдат без еды, что ружьё без пороха. Толку чуть.

Он достал из-за пазухи краюху чёрного хлеба, ещё тёплую, и сунул мне в руки. Я надкусил, жуя насильно. Хлеб был с отрубями, кисловатый, но когда я проглотил первый кусок, в животе словно что-то отпустило. Егоров прав: даже страх легче переносится на сытый желудок.

— Вахмистр, — сказал я, прожёвывая. — Вы молитесь перед боем?

Он усмехнулся, почесал затылок.

— Молюсь, когда спать ложусь. А перед боем некогда. Но вы, барон, если легче станет, помолитесь. Господь, он и лошадей благословляет, и людей. Он затянулся трубкой, выпустил дым вверх:

— Только не просите у Него, чтобы остаться живым. Это не по чину. Просите, чтобы смерти не бояться. Она всё равно придёт, когда надо.

Я посмотрел на запад. Солнце уже клонилось к горизонту, но его не было видно, только багровая полоса в разрыве туч, похожая на свежую рану. Внизу, в долине, копошились солдаты. Кто-то точил саблю, кто-то правил конскую сбрую, кто-то просто сидел, глядя в одну точку. На лицах не было страха, а была усталость. Такая глубокая, что под неё уже не лезет ничего, даже отчаяние.

Ночь наступила быстро. Без заката, без сумерек, просто небо потемнело, и всё. Откуда-то из русских батарей донеслись редкие выстрелы, пробные, наугад, чтобы обозначить дистанцию. Французы отвечали тем же, и тогда над полем повис низкий, утробный гул, похожий на рёв просыпающегося зверя.

Мы развели маленький костёр, из сухой полыни и берёзовых веток, которые насобирали по оврагам. Я сидел на бурке, поджав ноги, и смотрел на огонь. Воронцов примостился рядом, откупорил свою флягу, сделал глоток и протянул мне.

— Пей, барон. Не пьянства ради, а смелости для.

Я взял флягу. Сделал глоток. Коньяк обжёг горло, растёкся по груди теплом. Я сделал ещё глоток, потом ещё. Воронцов отобрал.

— Хватит. Нам не пьяных хоронить, а стоять насмерть,
— сказал он.

— А вы верите, что завтра мы устоим? — спросил я.

Он помолчал, глядя в угли, ответил:

— Устоим — не устоим, а своё сделаем. Наше дело — не победить, наше дело — не отступить. Победит тот, кто дольше простоит. А сколько мы простоим, одному Богу известно. Он поморщился, потирая больную руку и сказал:

— Я в пятом году уже воевал под Аустерлицем. Тогда мы бежали так, что пятки сверкали. А теперь некуда бежать. За нами Москва. Матушка-Москва, церкви золотые. Отдадим — хоть вешайся.

Он замолчал, и в этой тишине я вдруг услышал то, что слышал уже за три дня до этого, под Смоленском. Музыка. Французские оркестры играли «Марсельезу». Но теперь их было много — десятки оркестров, наверное, по всей линии. Гул стоял такой, что земля дрожала. А потом — тишина. Мёртвая, густая, как дёготь.

— Завтра, — сказал я, не обращаясь ни к кому. — Завтра я умру.

Егоров, который возился с лошадьми в двух шагах, услышал и отозвался:

— Может, и нет, ваше благородие. Может, и завтра же убьют. А может, через год. А может, через сорок лет. Не вам решать.

— Легче не становится, — буркнул Воронцов.

— А никто не обещал легкости, — ответил Егоров, и это

прозвучало почти грубо.

Я лёг на спину, положив голову на седло. Небо над головой было чёрным, но звёзды, как и под Смоленском, горели ярко. Я попытался представить себе завтрашний день. Как мы выстроимся, как полковник Левенвольде махнёт рукой, как лошади рванут вперёд. Как засвистят пули. Как закричат люди. Я зажмурился, но картинка не уходила — она была выжжена на внутренней стороне век.

— Воронцов, — позвал я шёпотом. — Вы спите?

— Какое там, — ответил он из темноты. — Глаза закрыл, а всё слышу.

— Расскажите что-нибудь. Про жизнь. Про мирное.

Он долго молчал, потом сказал:

— Есть у меня имение под Тверью. Там река такая — Тьма называется. И летом, когда купаешься, вода прозрачная, рыба видна. Дочка у меня, Машенька, ей семь лет. Она когда маленькая была, любила ловить стрекоз. Прибежит ко мне, сжимает кулачок «Папенька, смотри!» — разжимает, а там крылышко. Только крылышко. Стрекоза-то улетела. И она смеётся.

Он замолчал, и я понял, что он плачет. Тихо, беззвучно, по-мужски.

Я не стал ничего говорить. Просто лежал, смотрел в звёзды и думал о своём. О матери. О Лизавете Аркадьевне с родинкой у губ. О собаке Милке, которая ждёт меня дома, положив морду на лапы.

Где-то вдаль запел петух. Или не петух — французская труба. Я перестал понимать.

Перед рассветом я всё же задремал. Мне приснился дом. Запах пирогов с капустой. Маменька играет на фортепьяно. Отец читает газету. Я подхожу к окну, а там, вместо сада поле. Бородинское поле. И по нему в тумане идут тени. Много теней. Они машут мне руками и зовут: «Иди к нам, Саша, у нас здесь не больно». Я открываю рот, чтобы ответить, и просыпаюсь от того, что горло сдавило.

Рядом стоял Егоров.

— Вставайте, барон. Рассветает, — молвил он.

Я сел. Небо на востоке серело, обещая день. Холодный ветер принёс запах пороха ещё вчерашнего, пробного. Французские барабаны забили дробь. Им ответили наши.

— Будет, — сказал Воронцов, поднимаясь с земли. — Сегодня будет такое, что внукам расскажут.

Он перекрестился широким крестом, потом сплюнул на землю.

Я тоже перекрестился. Только крест у меня вышел мелкий, торопливый, как у вора.

И вот так, с крестом на груди и страхом в животе, я встретил утро 26 августа 1812 года.

Утро, которое не кончится.

Конец второй главы.

Глава 3. Утро, которое не кончается

Бородинское поле, 26 августа 1812 года. С рассвета до полудня.

Оно пришло не с петухами и не с молитвой. Оно пришло с гулом.

Я открыл глаза и не понял, сплю я или уже нет. Небо было серым, низким, и казалось, что оно опустилось прямо на штыки. Вокруг, в серой мгле, шевелились тени. Это люди, лошади, повозки. Никто не кричал, не суетился. Всё делалось молча, с какой-то страшной, надрывной неторопливостью. Солдаты натягивали мундиры, проверяли кремни, крестились. Кто-то жевал сухарь, запивая из фляги. Кто-то сидел на земле, опустив голову, и, казалось, спал.

Но никто не спал.

Я поднялся на ноги, тело ломило, будто я всю ночь таскал мешки с песком. Глаза слипались, но стоило мне моргнуть, как веки обожгло изнутри. Я подошёл к Графу. Конь стоял смирно, только ноздри его раздувались, и в них, как в кузнечных мехах, ходил тяжёлый, неровный воздух. Я потрепал его по холке — шерсть была влажной.

— Ничего, брат, — сказал я шёпотом. — Ничего, потерпи. Граф повёл ухом, будто понял.

Рядом завозился Воронцов. Он уже был в полной амуни-

ции: кираса начищена до зеркального блеска, палаш на боку, пистолеты в седле. Перевязанная левая рука торчала из-под мундира как чужеродное дерево. Он бросил на меня короткий взгляд.

— Молись, барон. Через час будет не до того.

Я перекрестился. В этот раз крест вышел шире, осмысленнее. Я даже прошептал те слова, которым учила маменька: «Боже, даруй мне мужество не посрамить оружия русского и знамени полкового». А потом добавил от себя, тихо-тихо, чтобы никто не слышал: «И сделай так, чтобы я не умер сразу. Чтобы успел попрощаться. С маменькой. С Лизаветой. С небом».

Небо молчало.

Вдруг — как обухом по голове — грянуло.

Я подскочил. Сначала показалось, что это земля разверзлась. Потом я понял: это пушки. Не одна, не две — сотни. Тысячи. Они заговорили с востока и с запада, и звук этот был не просто громом, он был чем-то плотным, материальным, как стена, которая движется на тебя и давит грудь. Я открыл рот, потому что барабанные перепонки отказывались верить в такое. Воздух задрожал. Где-то за курганом взметнулись фонтаны земли, дыма, огня.

— Начинается, — сказал Воронцов, и я увидел, как побелели его губы. — Теперь до вечера.

Канонада не смолкала ни на секунду. Она росла, ширилась, перекачивалась с фланга на фланг, и в этом аду я пы-

тался разобрать отдельные звуки: свист ядер, хлопки разрывов, далёкое «ура»: чьё, русское или французское, было непонятно.

Егоров подошёл, держа в поводу трёх лошадей. Он был спокоен, как перед утренней поверкой.

— Наш полк в резерве, ваше благородие. Стоим за курганом. Приказано седлать и ждать.

— Сколько ждать? — спросил я.

— А сколько Господь пошлёт.

Мы сели на коней и двинулись к указанному месту — ложине между двумя высотами. Здесь было чуть тише: холмы прикрывали от прямых попаданий, но земля всё равно вздрагивала каждую минуту. Мы спешили, встали в колонну по четыре. Солдаты молчали. Офицеры тоже молчали. Даже лошади, казалось, притихли, только изредка всхрапывали и переступали копытами.

Я стоял в строю, чувствуя, как по спине течёт пот. Кираса, которая ещё вчера казалась тяжёлой, сегодня приросла к телу, стала его частью. Я сжимал рукоять палаша и смотрел на дым, который клубился над курганом. Там, наверху, умирали люди. Я знал это. Слышал крики, которые доносились сквозь грохот, тонкие, отчаянные, нечеловеческие. И мне хотелось зажать уши, упасть на землю и не вставать.

Но я стоял.

Часы тянулись как дёготь — медленно, тягуче, бесконечно. Солнце поднялось, но его не было видно, только мутное

пятно сквозь дымную пелену. Жара стояла невыносимая, хотя было всего утро. Я пил воду из фляги, но она казалась тёплой и горькой. Воронцов, стоявший рядом, вдруг спросил:

— Барон, вы когда-нибудь видели мёртвого?

— Нет, — ответил я честно.

— Увидите сегодня. Много.

Он отвернулся, и я заметил, как дрожит его подбородок. Ветеран, герой Аустерлица, и дрожит. Значит, боялся не только я.

В десятом часу прискакал ординарец, весь в копоти, с перекосенным от крика лицом. Он что-то прокричал полковнику Левенвольде, и я увидел, как полковник побледнел. Потом он повернулся к строю и сказал негромко, но так, что слышали все:

— Господа офицеры! Батарея Раевского атакована. Французские кирасиры прорвались. Наш приказ — идти на вырубку.

Сердце моё ухнуло куда-то вниз, в самое нутро. Я посмотрел на Графа — конь стоял неподвижно, только уши его были насторожены. Я посмотрел на небо — серое, низкое, равнодушное. Я посмотрел на Воронцова — тот кивнул, чуть заметно, одними глазами.

— Полк! — голос полковника стал железным. — Равняйся! Смирно!

Мы вскочили в сёдла. Я чувствовал, как дрожат мои колени, как Граф подо мной перебирает ногами, как палаш бьёт

по бедру, и как где-то глубоко внутри, на самом дне души, маленький, трусливый голосок кричит: «Не надо, не надо, не надо».

— За мной! — Левенвольде взмахнул рукой. — Марш-марш!

И мы пошли.

Граф рванул с места, и я не успел ни испугаться, ни перекреститься, ни даже подумать. Всё, что было до этой секунды: костёр, письмо матери, звёзды, шёпот Егорова — исчезло, как будто кто-то вытер грязной тряпкой доску, на которой была написана моя жизнь.

Остался только бой.

Конец третьей главы.

Глава 4. Атака:
задержать любой ценой
****Бородинское поле, 26 августа***
1812 года, около 11 часов
утра. Батарея Раевского.*

Мы вылетели из лощины, и мир перестал существовать.

Я не помню, как мы преодолели первые сто саженей. Не помню, как Граф набрал галоп. Не помню, кричал ли я «ура» вместе со всеми. Всё, что осталось в памяти, это дым. Густой, жёлтый, едкий дым, в котором тонули люди, лошади, пушки, небо. Он забивался в ноздри, в рот, в глаза. Он был живым, он клубился, сворачивался в спирали, расступался на секунду, чтобы показать кусок истерзанной земли, и снова смыкался.

— Господа офицеры! — голос полковника Левенвольде перекрыл грохот. Мы замерли на миг, когда он поравнялся с нашим эскадроном. Лицо его было белым, как мел, но глаза горели. Он продолжил:

— Французская колонна прорвала центр. Если они закре-

пятся на батарее, армия будет разрезана надвое. Наш приказ — задержать их. Любой ценой. Любой! Дайте нашим пехотным дивизиям время перестроиться. Поняли меня? Задержать!

Он не сказал «победить». Не сказал «отбросить». Сказал — «задержать». И мы поняли. Задержать на своих телах. Задержать своей кровью. Задержать, даже если ни один из нас не вернётся.

— Поняли, ваше высокоблагородие! — ответил за всех Воронцов, и его голос прозвучал твёрже, чем я когда-либо слышал.

Левенвольде кивнул, развернул коня и встал во главе полка. Я видел его спину — прямую и непоколебимую. Он знал, куда ведёт нас. Мы все знали.

— С Богом! — крикнул он. — Марш-марш!

Граф рванул с места, и я не успел ни испугаться, ни перекреститься, ни даже подумать.

Впереди, сквозь дымную пелену, проступила французская колонна. Это было не просто построение — это была стальная лавина. Кирасиры в синих мундирах с красными

султанами шли плотным строем, пушка за пушкой, сабля за саблей. За ними — пехота с длинными ружьями, ещё дальше — артиллерия, которую французы уже тащили на батарею. Если они закрепятся, если успеют развернуть орудия на высоте, всё. Русская армия лишится центра, и дорога на Москву будет открыта.

— В лоб! — крикнул кто-то слева. — Бьём в лоб! Ни шагу назад!

Мы ударили. Не с фланга, не в обход — в лоб, в самую гущу, в то место, где колонна была самой плотной и самой сильной. Это было безумие. Это было самоубийство. Но именно этого требовал приказ: задержать, остановить, заставить французов сомкнуться, затормозить их движение, дать нашим батареям и егерям хотя бы полчаса, хотя бы четверть часа.

Я видел, как первые ряды кавалергардов врезались во французскую колонну, как железо заскрежетало по железу, как лошади вздыбились и падали, сминая всадников. Кто-то закричал, кто-то замолк навсегда. Но строй не дрогнул. Ни один из наших не повернул назад.

Мы знали: каждый удар палаша, каждый шаг французской лошади, который мы заставили остановиться, — это секунда,

выигранная для русской пехоты. Каждая наша смерть — это узел, которым мы связывали ноги вражеской колонне.

Рядом скакал Воронцов. Его лицо, обычно бледное, сейчас было красным, почти багровым от натуги, от крика, от пороховой гари. Левая рука, перевязанная и прижатая к груди, была черной от дыма. Правой он сжимал палаш, и клинок его мерно покачивался в такт скачке.

— Держись, барон! — крикнул он. — Помни: задержать! Не давай им пройти!

Я стиснул зубы. Задержать. Не дать пройти. Цена не важна.

Мы столкнулись.

Звук был не как удар, а как разрыв. Железо, крики, ржание. Я не успел ни зажмуриться, ни уклониться. Просто выбросил палаш вперёд, как учили в манеже, и лезвие во что-то уперлось. В твёрдое, живое, сопротивляющееся. Я рванул на себя и увидел лицо.

Французский офицер. Молодой, лет двадцати пяти, с чёрными усиками, аккуратно подкрученными. На щеке родинка. Глаза синие-синие, как васильки на петербургском лугу.

В них не было злобы. В них было удивление. Огромное, детское удивление: «За что?»

Мой палаш вошёл ему в плечо, рассек мундир, кирасу и застрял где-то внутри. Он дёрнулся, выронил саблю, схватился за луку седла. Лошадь его, закусив удила, понесла в сторону, и я выпустил рукоять — так и остался мой палаш торчать из французского плеча.

Я остался без оружия.

Но дело было не в оружии. Дело было в каждой секунде. Я оглянулся — французская колонна остановилась. Совсем. Мы врезались в неё как клин, и она замерла, как живое тело, в которое воткнули раскалённое железо. За нашими спинами, на батарее, русские егеря, которые ещё не отошли, успели перезарядить ружья. Где-то справа подходили наши резервы — я слышал их «ура», далёкое, нарастающее.

— Стоим! — заорал кто-то рядом. — Стоим, братцы! Не пускаем!

Французы опомнились. Их офицеры засвистели в свистки, зазвучали команды. Колонна начала разворачиваться теперь не вперёд, на батарею, а на нас, чтобы смять, уничтожить, прорваться через наши тела.

И мы приняли этот бой.

Воронцов, рубившийся справа, заметил, что я без палаша, и крикнул:

— Хватай пистолет! В седле!

Я сунул руку в кобуру. Пистолет был тяжёлым, тёплым от конского бока. Я взвёл курок, прицелился в первого попавшегося синего мундира и нажал спуск. Осечка. Кремень дал искру, но порох не загорелся. Я выругался.

— Второй! — заорал Воронцов.

Второй пистолет. На этот раз выстрел удался. Пуля ушла куда-то в дым, и из синей лавины донёсся вскрик.

А потом я увидел Егорова.

Он сражался в трёх шагах от меня, крутя палашом так, словно это был не клинок, а цеп. Трое французов наседали на него, но он отбивался, смеялся, что-то кричал. Его лошадь — старая, серая кобыла — вся в мыле, с налитыми кровью глазами, кусала чужого коня за морду. Он не просто сражался. Он стоял стеной. Он загораживал собой проход меж-

ду двумя сбитыми пушками. Если бы французы прорвались там, они зашли бы нам в тыл.

— Держись, барон! — прокричал он мне, прорубая дорогу. — Я сейчас!

А потом грянуло совсем рядом. Я почувствовал, как воздух стал плотным, как земля ушла из-под копыт Графа, как всё вокруг взлетело вверх: люди, кони, трава. Меня сбросило с седла. Я ударился о землю плечом, и мир погас.

Я очнулся от того, что меня тошнило.

Графа подо мной не было. Вместо седла и тёплой конской спины — земля. Мокрая, липкая, пахнувшая железом и гарью. Я лежал на животе, и левая рука не слушалась — она была вывернута под неестественным углом. Сапог правой ноги наполнился чем-то тёплым и липким. Я пошевелил пальцами — они двигались. Значит, нога цела.

Я поднял голову.

Французской колонны уже не было. Вернее, она была, но не там, где мы её встретили. За время нашего боя подошли резервы, русская артиллерия ударила с флангов, и французы откатились. Мы выиграли время. Четверть часа? Полчаса? Я

не знал. Но мы выиграли. Ценой полка.

Поле, насколько хватало глаз, было усеяно телами. Наши и французские, все вперемешку. Кирасы валялись как пустые консервные банки. Лошади лежали на боку, и некоторые ещё дышали, их бока ходили ходуном, а глаза смотрели в небо с такой тоской, что я не мог вынести этого взгляда.

Рядом со мной лежал поручик Щербатов, который вчера смеялся у костра. Теперь его голова была повёрнута затылком вперёд — так не бывает у живых. А дальше — корнет Оболенский, мой ровесник, выпускник корпуса. У него не было лица. Вообще. Только кровавая каша и два глаза, которые почему-то остались целы и смотрели в никуда.

Вокруг, сколько я видел, лежали французы в синих мундирах. Наши ребята забрали многих с собой. Каждый кавалергард унёс в могилу минимум троих. Так мы платили за каждую минуту, которую задержали колонну.

Я попытался встать. Не смог. Тогда я пополз на четвереньках, перебирая здоровой рукой и волоча перебитую.

— Воронцов! — закричал я. — Егоров!

Тишина. Только далёкая канонада — где-то там, за курга-

ном, бой всё ещё шёл. И стоны. Много стонов. Они поднимались из земли, тихие, надрывные.

Я нашёл Егорова первым.

Он сидел, прислонившись к убитой лошади. Своей старой серой кобыле. Голова его была опущена на грудь, руки сложены на коленях. Из рта торчала трубка погасшая, чёрная. Я подполз, тронул его за плечо.

— Егоров! Вахмистр! Вы живы?

Тело качнулось и завалилось набок. Тогда я увидел пулю. Маленькое, аккуратное отверстие ровно посередине лба, чуть выше переносицы. Ни крови, ни сукровицы — просто дырочка, как от шила. Будто кто-то поставил точку в конце долгого, трудного предложения.

В руке у него был зажат пистолет — второй ствол, которым он не успел выстрелить. Палаш валялся рядом, зазубренный, сломанный на треть. Егоров врубился в колонну так глубоко, что сломал оружие. Но не отступил.

Я сидел рядом с ним, не шевелясь, и смотрел на его лицо. На шрам на щеке. На седые волосы, выбившиеся из-под каски. На руки, мозолистые, солдатские руки, которые ещё

вчера чистили моё седло и утешали меня у костра.

— Егоров, — сказал я шёпотом, — вы сделали своё дело. Мы задержали их. Мы дали время. Слышите? Мы не зря.

Он не ответил. Не мог.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.